

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



← 3 →

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 3

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 3 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава	5
Глава 1. Тюрин	6
Глава 2. Кисет	14
Глава 3. Чужая тетрадка	22
Глава 4. Пометка на обороте	30
Глава 5. Госпиталь	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Битва за Москву 1941 - 3

Глава

Бой за Москву
Том третий

Глава 1. Тюрин



За полчаса до того, как всё кончилось, в половине первого мы потеряли Тюрина.

Тюрин Степан был в моём отделении с самого начала, с первых октябрьских дней. Он был тихий, тощий, из-под Егорьевска, копал ровно столько, сколько велели, ни больше ни меньше, никогда не спорил и никогда не смеялся над моими шутками — улыбался и всё. Я про него знал три вещи: что у него больной зуб слева, что он не любит перловку и что он умеет чинить обувь.

Я его послал за патронами.

У нас на правом краю к тому времени осталось патронов совсем мало — я это понял по тому, как Мазуров, дёргая затвор, шарил в подсумке и вытаскивал последнюю обойму, — а склад — это громко сказано, ниша в стенке хода на левом краю, где Гнутов сидел один со всем нашим боезапасом. И до этой ниши было сто восемьдесят метров по ходу сообщения, пригнувшись, минуты четыре бегом.

Или сорок метров поверху, через ложбинку, если срезать.

— Степан, — сказал я. — Возьми мешок, дуй к Гнутову за патронами. По ходу.

— Так по ходу долго, Кузьмич.

— По ходу, — сказал я.

И я отвернулся: справа снова полезли, и мне надо было смотреть туда. А надо было хотя бы первые десять шагов проследить Степану в спину. Потому что человеку девятнадцати лет, которому сказали «долго», а он видит, что можно быстро, — этому человеку нужен не приказ, ему нужен взгляд в спину.

Он срезал через ложбинку.

Мина легла у него за спиной, в семи или восьми шагах, — я слышал этот разрыв и не обернулся на него, потому что за полдня перестал оборачиваться на каждый.

Его принесли назад через десять минут, уже мёртвого, и мешок с патронами он донёс до нас, потому что упал вперёд, и когда его положили, мешок так и остался под грудью, будто он до последней секунды держал его, прижимая к себе.

Я стоял над ним, и Опарин стоял рядом, сняв шапку и держа её в руках, комкая, и вот что сказал Опарин:

— Не грызи себя. Ты ему велел по ходу.

— Велел, — сказал я.

— Ну.

— Кондрат Силантыч, — сказал я, — велеть — это половина дела. Вторая половина — посмотреть, пошёл ли он туда, куда велено. Вторую половину я не сделал, потому что смотрел направо.

— Так справа лезли.

— Лезли, — сказал я. — И потому у меня будет очень хорошее оправдание, и я его буду носить с собой, и оно будет мне жать.

Опарин помолчал, снял шапку, надел обратно, и по этому движению — снял, надел — я понял, что он не знает, что ещё сказать, и делает хоть что-то руками, лишь бы не молчать совсем.

— Складно говоришь, — сказал он. — А толку.

— Толку никакого, — согласился я. — Толк будет в том, что в следующий раз я посылать буду не одного, а двоих, и второму скажу: смотри за первым. И вот это уже будет от Тюрина.

Итог дня был такой.

Убито двое: Тюрин Степан из моего отделения и второй номер расчёта, фамилию я узнал вечером — Кожевников. Ранено трое, из них Ковалёв — касательно в мягкие ткани предплечья, кость цела, но руке несколько дней нужен покой. Ковригин хотел отправить его с обозом, а Ковалёв сначала отказался: сел у ДП левой, зубами затянул ремень перевязи и сказал, что пока может подать диск и держать сектор, никуда не поедет. К вечеру рука распухла, пальцы стали слушаться хуже, и Ковригин всё-таки погрузил его на подводу. Ругался Ковалёв не от боли, а оттого, что не успел сказать мне что-то важное, а что именно — забыл, и всё вертел головой, пытаясь вспомнить, пока перевязь не перестала тянуть плечо.

Немцы оставили в логоу и перед логом четырнадцать человек, а сколько увели мокрыми — того не знает никто, и я думаю, что для них это оказалась цифра поинтереснее четырнадцати.

И ещё был один итог, который не пишут в донесениях.

Наш левый край — те самые пятнадцать шагов из горелых досок и печного кирпича, над которыми мы горбились два часа, ломали свою же красоту, спорили про кость и мясо и в которых я не был уверен ни на грош, — за весь второй бой не получил ни одного снаряда.

Ни одного. Гнутов просидел там четыре часа один, с двумя сотнями патронов, и за всё время выстрелил девять раз, и то в белый свет, для бодрости.

Я это место строил, чтобы оно выдержало. Оно выдержало тем, что по нему не били.

Бортников пришёл в третьем часу.

Он обошёл линию всю, от левого края до лого, шёл медленно, останавливаясь у каждой ячейки, и он не разговаривал по дороге, а на войне это самый громкий звук, какой бывает.

Потом сел на бруствер и достал кисет, и руки у него, я заметил, двигались медленнее обычного, будто он давал себе время подумать над каждым движением.

— Ну, — сказал он. — Рассказывай.

— Что рассказывать, товарищ сержант?

— То, как оно вышло, — сказал Бортников. — Ты утром мне докладывал: он нашёл слабое место у сарая и во второй раз полезет туда же, только большими силами. Я тебе поверил, я на основании этого доклада перекинул тебе двоих от Хвостова на левый край, а потом полдня их обратно вытаскивал под огнём.

Вот этого я не знал.

Я не знал, что он вообще кого-то перекинул. Он не сказал мне утром. Он просто сделал по моему слову — и потом полдня расхлёбывал.

— Я не знал, что вы их перекинули.

— А тебе и не надо знать, — сказал Бортников. — Тебе надо знать другое. — Он свернул папиросу и не закурил, а держал её в пальцах, катая между большим и указательным. — Ты мне за эти дни шесть раз сказал заранее, где будет, и шесть раз оно там было. И я, дурак старый, привык. Я к тебе привык, Гринёв, как к барометру привыкают: постучал, стрелка налево — надел плащ.

— Я не барометр.

— Вот сегодня я это и узнал, — сказал он.

И замолчал.

И вот это молчание было хуже, чем если бы он на меня орал. Потому что орут на своего, а молчат при чужом.

— Товарищ сержант, — сказал я. — Разрешите объяснить, почему разошлось.

— Ну.

— Я думал за него как за пехотинца, — сказал я. — Я думал: где ему удобнее лезть. А он думал не как пехотинец. Он думал как хозяин обоза. Ему не окоп мой нужен, ему дорога нужна, чтобы дальше ехать. У него на карте один проезд на весь участок — через лог. И он туда полез не потому, что там слабо, а потому, что там единственная дорога.

Бортников поглядел вниз, на дорогу, на чёрные мокрые сваи, долго, будто хотел разглядеть на них что-то ещё.

— А мост-то сгорел, — сказал он.

— А мост сгорел, — сказал я. — В октябре. Не при нас. И вот тут, товарищ сержант, я вам должен сказать самое неприятное, что у меня есть сказать за сегодня, и я это скажу первым, чтобы вы не думали, что я жду, пока вы сами догадаетесь.

— Говори.

— Нас сегодня спас не я, — сказал я. — Нас спасла сапёрная команда, которая недавно сожгла мост и ушла на восток, и я даже не знаю, живы ли эти люди. И ещё нас спасло то, что я на правом краю ничего не построил. Он положил всю артиллерийскую подготовку по дороге и по кюветам — туда, где, по его карте, должна была стоять оборона у моста. А там стояло пустое место. Двести снарядов перепахали мокрую землю. Если бы я там за это время отрыл ячейки и насыпал бруствер, как собирался, — он бы их накрыл, и мы бы сейчас с вами не разговаривали.

Бортников наконец закурил, глубоко затянулся, выпустил дым через нос.

— То есть тебя спасла твоя же недоделка, — сказал он.

— Так точно.

— И ты мне это сам говоришь.

— Так точно, — сказал я. — Потому что вы это всё равно завтра сообразите, а я предпочитаю говорить неприятное первым. Первым говорить неприятное — это, товарищ сержант, единственный способ остаться человеком, которому верят.

Он курил долго. Наверное, полпапиросы, и всё это время смотрел не на меня, а на дорогу, будто разговаривал не со мной, а с чёрными мокрыми сваями.

— Слушай сюда, Гринёв, — сказал он потом. — Я тебе не за ошибку скажу. Ошибиться может любой, я сам недавно под Хлебниковом такого дал, что до сих пор снится. Я тебе за другое.

— Слушаю.

— Ты мне шесть раз сказал одинаковым голосом, — сказал Бортников. — Понимаешь? Когда ты знал — ты говорил вот так. И когда ты гадал — ты говорил точно так же. И я не мог отличить, а мне надо отличать, потому что я по твоему голосу людей передвигаю.

Я стоял и молчал, и в груди у меня было тяжело, будто я снова полз под завалом и не мог вдохнуть до конца.

Он был прав абсолютно, полностью и в том смысле, до которого сам не догадывался. В той жизни, в моей первой, у меня в докладе всегда стояли три уровня: подтверждено, оценочно, предположение. Три слова, за которые нас драли на разборах, если мы их путали, и драли правильно. Я эти три слова знал двадцать лет и не применял здесь ни разу — потому что здесь их никто не требовал, и я, старый дурак в мальчишеском теле, привык говорить одним уверенным голосом, потому что уверенным голосом легче протолкнуть идею через сержанта, который тебе не верит.

Я так привык покупать доверие тоном, что забыл, что доверие потом тратят на живых людей.

— Товарищ сержант, — сказал я. — Разрешите с завтрашнего дня докладывать по-новому.

— Это как?

— Тремя словами, — сказал я. — «Видел» — значит, я это видел своими глазами. «Считаю» — значит, я это вывел из того, что видел, и могу ошибаться, но обосную. «Гадаю» — значит, у меня нет ничего, кроме чутья, и вы под это людей не двигайте.

Бортников поглядел на меня искоса, тем самым взглядом, который я уже знал наизусть.

— И сегодня утром это было бы что?

— Гадаю, — сказал я. — Чистое «гадаю», товарищ сержант. У меня не было ни одного наблюдения. У меня была только логика.

— Ну вот, — сказал он и встал, разминая поясницу ладонью. — Уже разговор.

Он отряхнул шинель и посмотрел вдоль линии — от лога до сарая, через все двести сорок метров, изрытых, разбитых, залатанных горелой доской.

— Теперь по делу, — сказал он, и голос у него был ровный и сухой, без вчерашнего тепла, и я это услышал так же ясно, как слышал утром направление удара. — Рота стоит тут ещё неизвестно сколько. Может, неделю, может, до весны. Твой левый край на кольях. Дай мне там настоящий профиль. Капитальный. С одеждой крутостей, с ячейками, с перекрытой щелью под раненых. И чтобы стояло, а не держалось.

— Понял.

— За сколько сделаешь?

Я взял паузу, и в этой паузе я успел почувствовать, как сапоги вязнут в размятой глине, как ноют плечи от утренней работы, как саднят ладони, разбитые о черенок ещё вчера ночью.

Раньше я бы ответил сразу и красиво. Раньше я бы сказал: пять дней, товарищ сержант. И он бы записал, и через пять дней пришёл, и я бы ему объяснял складно, почему не готово, и объяснил бы, потому что объяснять я умею.

— Считаю: двое суток, — сказал я. — Разрешите обосновать.

— Обоснуй.

— На первый пятишаговый отрезок капитального профиля с одеждой крутостей мне надо вынуть и уложить примерно десять кубов тяжёлой сырой глины, — сказал я. — Стенки плывут, воду надо вычерпывать, каждый лишний штык приходится крепить. У меня было восемь человек. Тюрин убит, Ковалёв ушёл с обозом, Хвостов — теперь ваш, на опушке. Осталось пять, и из этих пяти Стеблов работает одной рукой на полную, а второй на половину, а Гнутов, извините, ест за двоих, а копает за полтора.

— Пять, — сказал Бортников.

— Пять с половиной, если считать Стеблова честно, — сказал я. — Десять кубов — полтора дня чистой работы. Но днём левый край под наблюдением, ночью не видно и вода сочится в забой. Значит, двое суток, если горбыль снимем с разбитого сарая и не пойдём за жердями в дальний ельник.

— Двое суток, — сказал Бортников.

— Двое суток, — сказал я. — И это если он нам не мешает и дождь снова не зальёт выемку.

Он смотрел на меня довольно долго, и в этом взгляде было что-то, похожее на оценку купца, взвешивающего товар на руке.

— Знаешь, чем ты мне сейчас нравишься? — сказал он наконец.

— Чем?

— Тем, что впервые за это время назвал мне срок больше, чем я ждал, — сказал Бортников. — Ты всегда обещал скорее и всегда потом успевал впритык. Я думал, ты храбрый. А ты, оказывается, просто до сегодняшнего дня не считал вслух.

И ушёл вниз, и не обернулся.

Несколько дней я потом выправлял это лопатой, а не словами.

Вечером я сидел в нише при коптилке и переписывал бумагу.

Коптилка была из гильзы, фитиль из шинельной нитки, света она давала ровно столько, чтобы видеть собственные пальцы и не видеть, как они дрожат от усталости. Огрызок карандаша я слюнявил каждые три слова, и от этого на языке остался вкус графита, горький, вязущий.

Пантелеевскую копию с двадцатью одним пунктом и вписанным Хвостовым двадцать вторым он унёс обратно на свой край. Передо мной лежал мой черновик. В новой редакции я оставил двадцать один нумерованный пункт, а Хвостовскую приписку про три дымовые кучи перенёс наверх, в отдельное предупреждение: сигнал должен говорить, чего именно не хватает. Я сидел над листом и понимал, что менять надо не только пункты, а его самоуверенность, потому что весь он, от первой строчки, был написан человеком, который знает.

Сверху я написал новое.

«Читать сначала это, потом пункты».

И дальше три абзаца, которые дались мне тяжелее, чем сорок кубов сырой глины.

Первое. Каждое слово о противнике говори с меткой: видел, считаю или гадаю. Видел — значит своими глазами, час и место. Считаю — значит вывел, и тогда назови, из чего вывел. Гадаю — значит нечем подтвердить. Под «гадаю» людей не двигают. Если тебе стыдно сказать «гадаю» — вспомни, что стыд твой стоит дешевле, чем один человек, посланный не туда.

Второе. Место, которое кажется тебе прочным по своей природе, — проверь и укрепи хотя бы наполовину. Ты смотришь на землю глазами того, кто будет по ней стрелять. Противник смотрит на неё глазами того, кто по ней поедет. Это разные глаза, и они видят разное. Спрашивай себя не только «откуда ему удобно на меня лезть», но и «куда ему надо попасть после меня и по чему он туда поедет». Дорога, брод, мост, гать, просека — вот его настоящая цель, а ты у него на пути только помеха.

Третье. Про сигналы дымом. Одна куча — держим. Две с перерывом — нужны люди. Три рядом — нужны патроны. Солому раскладывай тремя отдельными кучами заранее, ещё до боя, потому что под огнём одну кучу на три не разделишь и никто не полезет её делить. И запомни главное: сигнал, который может сказать только «плохо», не сообщает ничего. Всякий сигнал должен уметь сказать, чего именно не хватает.

И в самом низу, отдельно, я дописал строчку, которую сначала не хотел писать, а потом написал, и рука у меня при этом дрогнула, и последняя буква вышла смазанной:

«Всё выше написанное составлено человеком, который сегодня, тринадцатого октября, ошибся направлением удара и потерял бойца Тюрина Степана. Пункты работают. Составитель — не всегда».

Опарин подошёл сзади и стоял, дыша мне в затылок, минуты две, и я слышал, как он переминается с ноги на ногу, разглядывая через плечо мои каракули.

— Ты чего пишешь? — сказал он наконец.

— Бумагу.

— Опять бумагу, — сказал Опарин. — Ты, Андрюха, писарь несостоявшийся. Тебе бы в канцелярию, ты бы там расцвёл.

— Кондрат Силантыч, вы читать умеете?

— Умею, — оскорбился Опарин, выпрямляясь во весь рост, насколько позволяла ниша.

— Я, между прочим, четыре класса церковно-приходской, и почерк у меня был как у дьякона.

— Тогда читайте вот эту нижнюю строчку и говорите, что не так.

Он взял листок, отодвинул от глаз на всю руку и долго шевелил губами, водя пальцем по строчке.

— Так, — сказал он. — А зачем ты про себя-то тут написал?

— Затем, чтобы тот, кто будет читать пункты, знал, что их писал не бог.

— Ну ты и дурак, — сказал Опарин с искренним чувством, качая головой. — Кто ж так делает. Ты бумагу пишешь, чтоб тебя слушали. А ты в ней сам себя роняешь.

— Вот, — сказал я. — А теперь скажите мне, Кондрат Силантыч: если б вам сегодня утром сунули эту бумагу и сказали «читай и делай», — вы бы делали?

— Я бы поглядел, кто писал.

— А если б там было написано «Гринёв, который никогда не ошибается»?

Опарин подумал, наморщив лоб.

— Не поверил бы, — сказал он честно. — Таких нету.

— Вот поэтому и написано, — сказал я. — Человеку, Кондрат Силантыч, легче слушаться того, кто уже один раз получил по морде и встал. У безгрешного никто советов не берёт, у безгрешного берут только зависть.

Опарин вернул мне листок, посмотрел на него ещё раз, будто проверял, не убежали ли буквы.

— Складно, — сказал он и, помолчав, добавил: — Борозда всё равно косая.

Селиванов пришёл к десяти вечера, с обозом, с двумя подводами, с мукой, с махоркой и с той своей всегдашней манерой сначала выругать всех присутствующих за то, что дорогу не расчистили, а потом отдать привезённое.

Он выругал — долго, обстоятельно, поминая и наше отделение, и погоду, и весь фронт целиком. Мы отдали ему воз ругани обратно с процентами, потому что Гнутов уже отошёл и снова стал разговорчив и принялся рассказывать Селиванову, как днём мы выбили немца из лога, размахивая руками так, что чуть не свалил с подводы мешок с мукой.

А потом Селиванов сделал вещь, которой я от него не ждал: он отвёл меня за подводу, в темноту, и стал рыться за пазухой без единого слова. Молчащий Селиванов — это как поющий Бортников.

— На, — сказал он. — Тебе.

Сложенный вчетверо листок, серый, из школьной тетради в косую линейку.

— От кого? — спросил я, уже зная, и сердце у меня почему-то стукнуло чаще, будто я не письмо ждал, а приговор.

— От медсанбата, — сказал Селиванов. — Ты давеча передавал, я передал. Ну и обратно взяли. Мне что, я вожу.

— Спасибо.

— Спасибо в мешок не насыплешь, — сказал он и ушёл орать на Гнутова, который в это время пытался незаметно стащить с подводы лишнюю горсть махорки.

Я развернул записку у коптилки, и руки у меня шли медленнее, чем всегда. Я это заметил и разозлился на себя, и от злости стал разворачивать ещё медленнее.

Почерк был аккуратный, ровный, с наклоном, — почерк человека, который в жизни много писал не для себя: этикетки, списки, карточки. Строчек было девять.

«Товарищ Гринёв, здравствуйте. Записку вашу передали, спасибо, что спросили про здоровье, я не болею, руки только трескаются, но это у всех. У нас теперь работы много, идут

с вашей стороны и с левого фланга, за сутки принимаем больше, чем за неделю в октябре. Нам объявили, что батальон переносят вперёд, ближе к вам, потому что раненых не довозят живыми, далеко. Так что мы теперь будем соседями, если это можно так назвать. Берегите ноги, у вас там сыро, а с ногами потом мучаются годами. Реброва А.»

Я прочёл это четыре раза.

С первого раза я взял то, что берёт всякий: она ответила. Со второго — то, что она написала «берегите ноги», и это было сказано не мне лично, а всем на свете, кто ходит по мокрому, и всё-таки написано было мне.

А с третьего раза до меня дошло остальное.

Медсанбат переносят вперёд, потому что раненых не довозят живыми.

Это она написала как бытовую новость, как пишут «нам сменили квартиру». А я сидел с этой бумажкой у коптилки и понимал вещь, которую здесь понимать пока не полагалось никому.

Тыл сжимается. Не «переносят батальон, чтоб удобнее» — сжимается вся глубина, вся наша толща за спиной, та самая, в которой человек может лежать раненый и живой, пока его везут. Она уходит из-под нас, как подмытый край лога под теми восьмерыми сегодня: две секунды держал, потом осел — и люди по грудь в ледяной воде и грязи.

Я знал, чем это кончится. Не по числам — числа мне не дались, — а по общему ходу, по большому рисунку той войны, который я вынес оттуда, из своей первой жизни, из книг, из разговоров, из чужих слов над картой. Я знал, что зима переломит и что мы устоим. Я знал даже, где примерно устоим.

И вот беда: я знал общее, а её переносили в конкретное.

Общее знание никого не греет. Общее знание не отвечает на вопрос, доедет ли одна санитарная летучка от одного лесочка до другого лесочка утром четырнадцатого октября.

— Кузьмич! — заорал от подводы Гнутов. — Селиванов уходит, ты что-нибудь передавать будешь?

— Буду! — заорал я. — Пусть подождёт три минуты!

— Он говорит, две!

— Скажи, что он тогда сам будет объяснять медсанбату, почему не подождал!

Я взял огрызок карандаша, тот же самый, которым час назад писал про «видел, считаю, гадаю», и оторвал от накладной на фураж чистый край.

И вот тут со мной случилось то, о чём я потом думал ещё много дней.

Я, человек, который за это время заболтал сержанта, старшину, чужого командира взвода и роту в целом; человек, у которого на любой вопрос готово три ответа и все складные; человек, который сегодня утром на бегу, под огнём, сложил себе целую картину чужого мышления, — я сидел над клочком бумаги и не знал, что написать.

Потому что написать хотелось: «Не переезжайте».

Написать хотелось: «Пусть вас перенесут назад, а не вперёд, потому что через недели три тут будет так, как вы себе не представляете».

Написать хотелось всё то, за что мне пришлось бы отвечать на очень неприятные вопросы очень серьёзным людям, и правильно бы пришлось, потому что откуда бы восемнадцатилетнему бойцу Гринёву знать, что будет через три недели.

Я потёр лицо ладонями, чувствуя под пальцами шершавость обветренной кожи, и написал то, что можно.

«Здравствуйте, Реброва А. Ответ ваш получил и очень ему рад, я его четыре раза прочёл и, кажется, буду ещё. За ноги спасибо, ноги у меня сухие, я под портянку кладу сено, и это лучше всякой мази, могу научить ваших, если пришлёте кого-нибудь понятливого.

Про то, что вас переносят вперёд, я прочёл и скажу прямо, потому что вилять не умею: я этому не рад. Вы там будете ближе, чем нужно. Если у вас есть возможность выбирать место,

выбирайте так, чтобы за спиной у вас был лес и дорога на восток, а не поле. И чтоб не у моста и не у развилки — по мостам и развилкам бьют первыми, у них так на картах записано.

А что до соседства — я согласен, соседями будем. Пишите, куда бы вас ни перевели, письмо меня найдёт, я тут человек заметный: у меня борозда косая.

Гринёв Андрей».

Про букву «А» я думал секунд десять. Она подписалась инициалом, и я это заметил ещё в первый раз, а понял только сейчас, дописывая своё имя целиком, как дурак.

«А» — это Анна. Или Александра. Или Антонина. Или Ася, чего в документах не бывает, а в жизни сплошь и рядом.

На одну букву у меня не хватило ни памяти, ни арифметики.

Я сложил листок вчетверо и отнёс Селиванову.

Он взял его тем же коротким кивком, каким брал первый, и сунул за пазуху, и ни о чём не спросил, и за это я его тогда чуть не расцеловал.

— Селиванов.

— Ну?

— Вы когда обратно?

— Через двое суток, если дорога, — сказал он. — А если он опять по большаку начнёт класть, то через трое. А если совсем плохо, то никогда, и ты меня не жди, а поминай.

— Вы, Селиванов, страшный человек.

— Я обозник, — сказал он с достоинством. — Мне положено.

И уехал, и подвода гремела по каменистой колее, и грохот этот было слышно ещё долго, дольше, чем видно телегу.

Я вернулся к себе в нишу и сел.

Коптилка догорала. На ящике передо мной лежали две бумаги: слева — вторая редакция инструкции, двадцать один пункт и три предупреждающих абзаца сверху, а внизу строчка про Тюрина Степана; справа — девять строчек в косую линейку, аккуратным почерком человека, у которого трескаются руки.

За стенкой храпел Гнутов — он засыпал за четыре секунды и храпел так, что на левом краю его, наверное, слышал бы противник, если бы противник ночью работал.

На западе гудело.

Оно теперь не смолкало вовсе: ни в полночь, ни к утру, — просто становилось то ниже, то выше, как гудит вода в трубе большого дома, где кто-то всё время открывает и закрывает краны. Позавчера я это услышал ладонью через сырой грунт и был очень собой доволен. Сегодня я слушал его просто ухом, потому что оно уже никуда не пряталось.

Завтра с рассветом мы начнём выбирать грунт под первый отрезок капитального профиля. Пять с половиной пар рук, двое суток, десять кубов сырой глины.

А где-то на восток отсюда, в двух или трёх переходах, люди собирают ящики и грузят на подводы носилки, потому что раненых не довозят живыми и потому надо стать ближе.

И я сидел, смотрел на две бумажки при догорающем фитиле и в первый раз за эту вторую свою жизнь думал не про землю под ногами — про землю я и так всё знал, — а про то, что сжимается она не только подо мной.

Я задул коптилку.

Гудело.

Глава 2. Кисет



На рассвете мы натянули шнур вдоль первых пяти шагов будущего профиля. Хвостов вбил два колышка, Опарин прошёл между ними боком и плечом показал, где стенка съест проход. Я переставил правый колышек на ладонь наружу. После этого люди взялись за лопаты, и разговоры кончились: сырой суглинок лип к железу так, что каждый ком приходилось сбивать сапогом.

К полудню выемка дошла мне до колена. Прохор с Гнутовым таскали землю в плащ-палатке, проваливались каблуками в жижу и ругались друг на друга, пока Бортников не забрал у них полотно, сам донёс до отвала и опрокинул одним движением.

— Ещё раз потеряете половину по дороге — понесёте в шапках, — он вернул плащ-палатку Прохору и провёл ладонью по стенке. Глина поползла под пальцами. — И это держаться не будет.

Ночью мы поставили первые стойки и связали лозой горбыль. Ковалёв держал коптилку у самого грунта, Хвостов подгонял жердь топором, а я вычерпывал котелком воду из угла щели, пока на дне снова не показалась твёрдая глина. Под утро накат лёг на место; сверху мы набросали первый слой земли и трамбовали его обухами лопат, не чувствуя пальцев.

Следующий день ушёл на ячейку и перекрытую щель под раненых. Перед вечером Бортников прошёл все пять шагов, дважды заставил переложить берму, залез под накат и несколько секунд сидел там, слушая, как сверху топчется Хвостов. Потом выбрался, обтёр колени и только тогда кивнул.

Коптилка догорела ночью, а гудело и утром — только уже не так, как накануне: не сплошной трубой, а с провалами, будто там, на западе, кто-то устал и присел покурить.

Я вылез из ниши в шесть с чем-то. После полутора суток в глине пальцы не хотели застёгивать ворот, а под ногтями осталась чёрная кайма, сколько ни скобли. Опарин уже шёл по ходу сообщения с известием, от которого у меня, честное слово, дёрнулось что-то в животе, как в детстве от слова «мороженое».

— Баня, — сказал Опарин, просунув в нишу бороду и полшапки. — Вставай, Андрюха. Смене нашей — с девяти до одиннадцати. Бортников велел передать: с лопатой не приходите, лопату он отбирает на сутки, а кто в баню с лопатой явится, тому он ею же и обозначит.

Я сел на нарах.

— Кондрат Силантьич.

— Ну?

— Скажите вслух ещё раз. Медленно.

— Ба-ня, — сказал Опарин с удовольствием. — Тебе, сироте, объясняю: это такое строение, в нём вода горячая, а в воде — ты.

— Я знаю, что такое баня. Я двое суток подряд знал, что такое мокрая глина, и мне надо привыкнуть, что бывает что-то другое.

Баню роте поставили в Кузьминском овраге, в километре за гребнем, — и поставила её не наша рота, а хозяйственники батальона, за неделю, из разобранного скотного двора: сруб в половину прежней высоты, крыша из горбыля и дёрна, вкопанная в скат так, что снаружи виден был только чёрный от копоти дымоход да заваленный ельником вход. Внутри — предбанник в три шага, где на вбитых колышках висело чужое обмундирование, и мойка с двумя каменками из битого кирпича и вмазанным немецким котлом, который какие-то святые люди сняли с разбитой полевой кухни ещё в октябре и волокли за собой три перехода, потому что бросить котёл — это одно, а нести его — совсем другое.

Мы шли туда всей сменой: я, Опарин, Гнутов, Стеблов, Мазуров и двое от Хвостова, — и шли по ходу сообщения до самого поворота на овраг, пригибаясь, потому что верхом ходить было можно, но не нужно.

— Гнутов, — сказал я. — Ты в бане голову моешь?

— А как же.

— Чем?

— Как чем, — сказал Гнутов. — Водой.

— Это не мытьё, — сказал я. — Это ополаскивание. У меня есть кусок мыла.

Тут все остановились. Прямо в ходу сообщения, все семеро, и Опарин обернулся так резко, что задел плечом стенку и на него посыпалось.

— Врёшь, — сказал Опарин.

— Не вру.

— Откуда?

— Выменял, — сказал я. — У связиста из батальона, неделю назад, за трофейный ножик и за то, что я ему объяснил, как не застудить руки при работе на столбе. Кусок с ладонь, хозяйственное, вонючее, но своё.

— И ты его неделю молчал, — сказал Гнутов с ужасом.

— Неделю я его берёг, — сказал я. — Мыло, Ваня, штука такая: пока его не мочили, оно вечное. Один раз намочил — и всё, пошло таять. Я ждал бани.

— А если б баню не дали?

— Тогда бы я умер с мылом, — сказал я, — и это было бы обидно, но красиво.

Мы дошли, и там уже стояла очередь: смена Хвостова выходила, распаренная, красная, в расстёгнутых гимнастёрках на студёном ветру, и от людей валил пар, как от лошадей. Они выходили и орали друг на друга, и это был не крик, а тот особый ор довольных мужиков, который на войне слышишь редко и потому запоминаешь надолго.

Мы разделись в предбаннике. Я стянул гимнастёрку и увидел собственное тело при дневном свете из открытой двери — впервые, наверное, недели за две.

Не буду врать: я обрадовался.

Оно было по-прежнему худое, узкоплечее, мальчишеское, с этими тонкими запястьями, из-за которых в первые дни октября смотреть на себя не мог без матерного слова. Но на пред-

плечьях появились жилы. И ладони мои, разбитые о черенок в первую неделю, стёртые до мяса во вторую, теперь были не ладонями — а двумя кусками дублёной кожи, с мозолью от указательного до мизинца сплошной пластиной. И плечо, которое в начале ныло после часа работы, теперь ныло после шести. Прогресс был не тот, о котором мечтают в восемнадцать, — но это был прогресс, добытый десятью кубами сырой глины, и я его щупал пальцами, стоя в предбаннике, и был доволен, как скупец.

— Гринёв, ты чего себя ощупываешь? — сказал Мазуров.

— Проверяю, всё ли на месте.

— И как?

— Всё на месте, — сказал я. — Только маловато его.

— Ты в июле себя видел? — сказал Опарин, разматывая портянки с той обстоятельностью, с какой он делал всё, включая вдохи. — Тебя в июле ветром сносило. Тебя старшина в караул не ставил, потому что боялся, что винтовку не удержишь.

— Кондрат Силантыч, вы меня в июле не знали.

— Не знал, — согласился Опарин. — А как посмотрю на тебя нынче, так сразу видно, каким ты был в июле.

Мыло я пустил по кругу, и это была самая дорогая вещь, какая проходила через мои руки в обеих жизнях. Каждый брал его двумя ладонями, как берут птицу, тёр им голову и передавал следующему, а Гнутов, приняв, сказал вслух и без всякой шутки:

— Мать честная.

Пар шёл низкий, злой, каменки были сложены дурно и держали жар минут по десять, вода в котле пахла железом и пригорелой кашей, и на полке лежали не веники, а еловые лапы, которыми хлестаться было всё равно что тереться о ежа, — и всё-таки это была баня, и мы в ней сидели два часа, и за эти два часа с меня сошло, по моим подсчётам, около килограмма родной подмосковной глины.

Опарин парился в шапке. Я долго не мог понять почему, а потом понял: он был лысый, и лысину жгло.

— Кондрат Силантыч, вы в шапке смешной.

— А ты без шапки не лучше, — сказал он. — Ты, Андрюха, без одежды похож на вешалку, с которой сняли шинель.

— Спасибо.

— Не за что. Мочалку подай.

Мочалкой у нас был кусок мешковины, и она была одна.

Вышли мы в двенадцатом часу — красные, обваренные, с мокрыми головами, которые тут же прихватило на воздухе. И тут-то, у самого выхода, где под ельником были свалены дрова, я и увидел Селиванова.

Он сидел на дровах, обозник наш, в своём вечном полушубке с прожжённым рукавом, и курил, и лошадь его стояла рядом с подводой, опустив морду в торбу.

— Селиванов! — заорал Гнутов. — Ты чего у бани сидишь? Ты ж говорил, тебе мыться не надо, ты, говорил, зимой не потеешь!

— Я не мыться, — сказал Селиванов, не вставая. — Я жду.

— Кого?

— Не тебя.

Он поднял на меня глаза и коротко мотнул головой в сторону подводы, и я пошёл к ней, потому что за это время выучил этот его жест, как выучивают сигнал.

За подводой, в затишке, он полез за пазуху — сначала в один карман, потом в другой, потом выругался и полез внутрь, под полушубок, и я стоял и ждал с мокрой головой на ветру и, честное слово, чувствовал, как у меня стынут волосы, и мне это было безразлично.

— Держи, — сказал Селиванов.

И положил мне в ладонь не бумагу.

Это был кисет.

Небольшой, ладони в полторы, из плотного холста — не нового, стираного, из чего-то, что раньше было наволочкой или подкладом. Верх стянут суровой ниткой, вдёрнутой в подрубленный край, и на конце нитки — деревянная бусина, оструганная ножом из чего-то мягкого, липы, наверное, неровная, с одного бока толще. А по нижнему краю, вокруг всего кисета, шёл вышитый узор: простой, в две нитки, красной и синей, — треугольнички, косой стежок, ёлочка. И этот узор был вышит не мастерицей. Он был вышит человеком, который знал, как надо, и делал это в темноте, урывками, замёрзшими пальцами: слева стежки шли ровные, а к правому боку начинали разъезжаться, а потом, через ладонь, снова выравнивались — там, где она, видно, отложила, отогрелась и взялась заново.

Я держал его дольше, чем нужно, чтобы просто взять вещь.

Я это заметил за собой. Я, взрослый человек в мальчишеском теле, стоял на ветру с мокрой головой у чужой подводы и держал в руке кусок холста, и у меня в груди было тепло и тесно, и я щупал большим пальцем эти неровные стежки, где они разъезжались, — потому что вот в этом месте, где они разъезжались, была она сама, и её озябшие руки, и её ночь, и её усталость, и это было в тысячу раз больше, чем девять строчек в косую линейку.

— Ты, — сказал Селиванов, — не стой на ветру с башкой мокрой. Простынешь — Бортников с меня спросит.

— Селиванов.

— Ну?

— Как дорога?

— Дорога, — сказал он и сплюнул. — Дороги нету, есть направление. Он третьего дня по большаку положил, я объезжал полем, у Хмелей провалился в яму по ось, вытаскивал вдвоём с бабой, которая шла в Ватутино к сестре. Сутки лишних.

— То есть вы шли не двое суток, а трое.

— Трое.

— И везли муку, махорку и вот это, — сказал я, показав кисет.

— Ну, — сказал Селиванов.

— Я вам должен.

— Мне все должны, — сказал он с достоинством. — Я обозник.

— Она вам сама отдала? В руки?

Селиванов вынул папиросу изо рта и посмотрел на неё, будто там был написан ответ.

— В руки, — сказал он. — Догнала у палатки. Я уже сидел на подводе, а она шла с ведром и увидала меня, поставила ведро прямо в грязь и побежала обратно, а потом опять прибежала и отдала. И ведро так и стояло, я потом обернулся — стоит.

Вот что он мне рассказал, обозник Селиванов, за две затяжки: как женщина, которую я видел один раз при свете, поставила ведро в грязь и побежала.

Я убрал кисет во внутренний карман шинели — туда, где у меня лежали её первая записка, огрызок карандаша, который я звал «личным составом», и кусочек кремня. Убрал не суетливо, не пряча, но и не выставляя, — просто убрал, куда кладут своё.

И когда поднял голову, у выхода из бани стояли Опарин, Гнутов и Мазуров и смотрели на меня.

Не подслушивали. Просто стояли, потому что оделись и вышли, а мимо подводы всё равно идти. Гнутов держал в зубах сигарку, Мазуров натягивал шапку, Опарин застёгивал крючок на воротнике — и у всех троих на лицах было одно и то же выражение, которого я не видел у них ни разу за это время: они всё поняли и молчали, потому что им было приятно.

— Чего? — сказал я.

— Ничего, — сказал Опарин.

— Вот и я говорю: ничего.

— Голову покрой, — сказал Опарин. — Дурак.

Мы пришли на позицию к часу, и на позиции нас ждала вторая радость дня, которая по нынешним временам стоила почти вровень с баней: ротная кухня, доташенная-таки до нас через овраг, и в ней горячее.

Не «горячее» в смысле «не совсем холодное», как обычно, когда термос идёт полтора километра по сырому ветру и приходит едва тёплым, — а горячее по-настоящему, с паром, потому что кухню в кои-то веки поставили близко, за обратным скатом, и повар Ситников, мужик громадный и обидчивый, стоял над ней с черпаком и лично следил, чтобы никто не подошёл дважды.

Ели мы у щели, на солнце. Солнце в тот день было — низкое, желтоватое, без всякого тепла, но глазам приятное.

Хвостов пришёл в половине второго, с опушки, со своего участка, — приволокся, хромая на левую, с палкой, которую он себе выгесал и обстругал, конечно, аккуратно, с рукоятью, потому что плотник он и есть плотник.

— Вот, — сказал он, садясь. — Отпросился на два часа. Пантелеев отпустил. Сказал: сходи, посмотри, живы ли твои.

— Живы, — сказал Гнутов. — Мытые.

— Ага, — сказал Хвостов и потянул носом. — Мытые. Слышно.

Ему налили. Он ел молча первые минуты три, как ест человек, у которого на своём участке кухня ходит через раз, и мы на него смотрели, и было хорошо. И вот когда он отставил котелок и полез в карман за своей бумажкой, чтобы, значит, доложить мне свои двадцать второй, двадцать третий и двадцать четвёртый пункты, тут-то он и увидел.

У меня из-за отворота шинели торчал уголок. Холщовый, с красной ниткой.

Хвостов взял паузу. И надо отдать ему должное — держал он эту паузу, как держат хорошие актёры: смотрел на уголок, потом на моё лицо, потом опять на уголок, и в глазах у него медленно, как рассвет, поднималось счастье.

— Мужики, — сказал он громко. — А не пора ли нам Кузьмича женить?

Надо честно признать, что в следующую секунду со мной произошло вот что.

Меня подбросило на месте. Не телом — внутри. В горле уже стояло наготове три ответа, все складные, все смешные, все уводящие в сторону: про то, что у меня в кисете лежит секретная карта; про то, что это мне бабка прислала; про то, что Хвостову бы не о моей женитьбе думать, а о том, как он ползёт по промоине, будто за ним гонятся. Я эти ответы за это время отработал до автоматизма — любой вопрос про личное я гасил шуткой на первом же слове, гасил быстро и весело, и никто ни разу не успевал даже начать.

И я открыл рот — и не сказал ни одного из трёх.

Потому что я посмотрел на их лица.

Опарин уже смеялся, беззвучно, в бороду, трясясь. Гнутов сидел с открытым ртом и абсолютно детским восторгом, Мазуров таращился, Стеблов улыбался в сторону, а Хвостов смотрел прямо на меня, и не было в его глазах ни единой капли того, чего я всю жизнь опасался в таких разговорах, — ни насмешки, ни желания подцепить, ни этого мерзкого мужского удовольствия сделать другому неловко. Он просто радовался. За меня. Как радуются, когда у соседа отелилась корова.

И я подумал: чего я, собственно, боюсь.

Тут ведь вот какое дело. Я с первого дня в этом теле живу, окружённый одной большой тайной, которую нельзя сказать ни при каких обстоятельствах, — и от этого у меня выработался рефлекс: всякое личное — прятать. Всякое своё — за шутку. Спрашивают, где научился, — байка. Спрашивают, отчего так смотришь, — байка. И я до сегодняшнего дня, оказывается, тащил под этот же зонтик и то единственное, что прятать было незачем.

Про Реброву Александру я мог говорить вслух. Совершенно свободно. От этого не рушилось ничего.

— Пора, — сказал я.

Тишина была секунды на полторы.

— Чего? — сказал Хвостов.

— Пора, говорю, — сказал я и вытащил кисет наружу и положил себе на колено. — Только сватать вас я, мужики, не пошлю, потому что вас в медсанбат если пустить — там весь личный состав уляжется от вида одного Гнутова.

Их разорвало.

Опарин упал на бок, прямо в пожухлую траву, и лежал, всхлипывая. Гнутов заорал: «Чего это от моего вида! У меня, между прочим, лицо доброе!» Мазуров хохотал тем визгливым мальчишеским смехом, который прорывается у восемнадцатилетних, когда они забываются. Стеблов бил ладонью по колену. А Хвостов сидел и качал головой, и повторял: «Вон оно что. Вон оно, значит, что», — и было видно, что он этому «вон оно что» рад больше, чем горячему обеду.

— Дай посмотреть, — сказал он.

Я дал.

Он взял кисет двумя руками — большими, ободранными руками плотника, — и посмотрел его так, как смотрят работу: перевернул, поглядел шов изнутри, потрогал бусину на шнурке, покатав её в пальцах.

— Липа, — сказал он. — Ножом. Ножик тупой был, вот тут видно, задирало. И вот тут, гляди, — он показал мне край, — тут она подрубала дважды. Первый раз криво пошло, распорола и подрубила заново.

— Ты почём знаешь?

— Дырки от иглы остались, — сказал Хвостов. — От первого раза. Вот, вот и вот. Видишь?

Я видел.

И это была та минута, за которую я потом отдал бы многое, если б у меня было что отдавать: сидит на мокрой траве у щели плотник из-под Клина с перевязанным бедром и на пальцах показывает мне, дураку, следы от иглы, оставшиеся от первого, неудачного шва, — то есть показывает мне, как она сидела над этим ночью, распорола и начала сначала, потому что вышло криво, а криво она отдать не хотела.

— Аким, — сказал я.

— Ну?

— Верни.

Он вернул.

— Так, — сказал Опарин, отсмеявшись и садясь. — А теперь давай по порядку. Кто такая?

— Реброва Александра Тимофеевна, — сказал я. — Военфельдшер медсанбата.

— Ты её видел?

— Один раз. При свете, и то она была в платке.

— И как? — спросил Гнутов с непередаваемым выражением.

Вот тут я едва не соврал. Потому что правильный ответ по здешним понятиям был: «Красивая, мужики, страсть». А я посмотрел на кисет у себя на колене и сказал правду:

— Не знаю, — сказал я. — Я не разглядел лица. Я разглядел руки. У неё руки в трещинах до крови, и она их прячет в рукава, когда стоит без дела. И вот с этих рук у меня всё и пошло.

Смеяться перестали.

Опарин пожевал губами и сказал:

— Это ты правильно.

— Что правильно?

— Что с рук, — сказал Опарин. — С лица оно у всех начинается, а держится потом ни у кого. А с рук — держится.

И вот в этом весь Кондрат Силантыч Опарин, сорока восьми лет, четыре класса церковно-приходской, борозда косая: сказал одной фразой то, на что у меня ушло бы долгое объяснение.

— Так ты ей отвечать будешь? — спросил Мазуров.

— Буду.

— Опять бумажкой?

И тут я произнёс вслух то, что до этой минуты только маячило у меня на краю мысли, — и произнёс, зная, что произношу при семи свидетелях, из которых как минимум четверо мне это будут припоминать до самого лета.

— Не бумажкой, — сказал я. — Бумажкой стыдно. Она мне вещь сделала руками. Значит, я ей тоже сделаю руками.

— Чего сделаешь? — сказал Хвостов, мгновенно оживившись, потому что «сделать руками» — это была его вера, его церковь и его партия.

— Не знаю ещё.

— Как это не знаешь!

— Вот так, — сказал я. — Знаю, что сделаю, не знаю, что именно. Умею я, мужики, немного: копать, стрелять и разговаривать. Разговор в карман не положишь.

И началось.

Господи, что началось. Двое приданных от Хвостова уже вернулись на опушку, а сам Аким подошёл с котелком. К разговору нас осталось шестеро: я, Опарин, Гнутов, Стеблов, Мазуров и Хвостов. На студёном ветру, у перекрытой щели, мы полчаса обсуждали, что боец Гринёв должен вырезать для военфельдшера Ребровой.

Гнутов предложил ложку. «Ложка — первое дело, ложку каждый день в руках держишь, будет держать и вспоминать». Мазуров сказал, что ложка — это грубо, ложка — это как будто ты ей намекаешь, что она мало ест. Хвостов сказал, что ложка правильно, но не ложка, а гребень — «баба гребень каждый день берёт, а ложку в столовой дают казённую». Мазуров, человек серьёзный, пулемётчик, сказал, что надо делать коробочку с крышкой, потому что у женщины всегда есть мелочь, которую некуда деть, — иголки, нитки, пуговицы, — и что коробочка с плотной крышкой в медсанбате дороже золота. Стеблов молчал, а потом сказал тихо: «Зеркальце бы. Да где ж возьмёшь стекло». Опарин выслушал всех и вынес решение:

— Гребень, — сказал он. — Коробку он не сделает, у него терпения нет, он на третий день бросит и пойдёт что-нибудь придумывать. А гребень — это одна досочка, а работы в ней на неделю, если по-честному. Как раз ему.

— Из чего? — сказал я.

— Из берёзы, — сказал Хвостов. — Только не из сырой, сырая поведёт и зубья пойдут винтом. Надо сухую. Слышь, Кузьмич, у меня на опушке в развалинах есть кусок дверной притолоки, старая берёза, сушёная лет двадцать, я её берёг на топорище. Я тебе принесу.

— Аким, ты её на топорище берёг.

— Ну и что, — сказал Хвостов. — Топорище я себе ещё найду. А тут дело.

Вот на этом месте я и почувствовал, как у меня внутри что-то отпустило — то самое, что держало всё это время.

Я тасил своё личное как контрабанду. Прятал записки, ходил к Селиванову за подводу, отвечал невпопад, когда спрашивали, чему улыбаюсь. И всё это оказалось не нужно вовсе. Люди, с которыми я делил лопату, окоп и полторы сотни граммов сахара на восьмерых, просто взяли мою историю и положили её в общий котёл, как кладут в него табак и сухари, и стали

обсуждать её как общее дело роты, и Хвостов уже жертвовал на неё топором, а Мазуров прикидывал, где взять наждачный камень.

И была в этом одна печаль, короткая, как укол под ребро, — я успел её почувствовать и загнать обратно.

Потому что вот эту тайну я мог им отдать. А ту, вторую, — нет. И пока они хохотали и спорили про гребень, я на секунду увидел себя со стороны: сидит среди своих взрослый человек, которому дали второй раз пожить, и он смеётся со всеми, и он один во всём мире знает, откуда он взялся, и никогда никому не скажет. И от этого мне на секунду стало так одиноко, как не бывает даже ночью в карауле.

Секунду.

— Стеблов! — сказал я. — А ты чего молчишь. Ты ж у нас единственный женатый.

— Я не молчу, — сказал Стеблов. — Я про зеркальце сказал.

— Ты женатый, ты и скажи главное. Что баба ценит?

Стеблов подумал. Он всё делал медленно, Стеблов, с той предельной обстоятельностью, которая бывает у людей, привыкших, что их не дослушивают.

— Чтоб не забывал, — сказал он. — Вот и всё. Хотя щепку пришли, лишь бы часто.

— Ну, — сказал Опарин, — этот-то не забудет. Этот наоборот: он ей писать будет через день, она взвояет.

— Пусть вояет, — сказал я. — Я человек настырный.

После обеда Бортников прислал за мной Гнутова, и я пошёл в ротную землянку, к сержанту, — и, честно говоря, шёл лёгкий, как воздушный шарик: мытый, сытый, с кистом за пазухой и с обещанием гребня, о котором знала уже вся рота.

Глава 3. Чужая тетрадка



За это лёгкое настроение я потом заплатил вдвое.

Ротная землянка была в трёхстах метрах за гребнем, в старом погребе, накрытом в два наката. Внутри — стол из двери, положенной на козлы, лампа-гильза побольше моей, нары вдоль стенки и полка, где лежали ротные бумаги, придавленные немецкой каской, чтобы не сдувало.

Бортников сидел за столом, и перед ним лежала куча.

Ту кучу мы натаскали три дня назад, когда после второй волны наши ходили на скат за логом собирать оружие. Оружия там нашлось немного, а бумаг — прилично, потому что у убитых всегда остаются бумаги, и они никому не нужны до того момента, пока не оказываются нужны позарез.

— Садись, — сказал Бортников. — Дело есть.

— Слушаю, товарищ сержант.

— Слушать будешь потом. Сейчас будешь смотреть.

Он подвинул мне край кучи.

— Приказано разобрать и что важное — отдельно, — сказал он. — Из батальона придёт человек завтра или послезавтра. Мы с тобой должны это отсортировать, чтоб он не рылся в письмах трое суток.

— А по-немецки кто?

— Никто, — сказал Бортников с ровным лицом. — Полищук был, у него в аттестате «немецкий», но его убило в последнем бою на опушке. Есть Ройтман в первом взводе, он не немецкий знает, он идиш знает, но он говорит, что половину понимает. Он придёт к вечеру. А пока мы с тобой сортируем: тут письмо, тут не письмо.

Работа была скучная и на удивление тяжёлая для души.

Я перебирал чужие карманы. В прямом смысле: разложенное на столе содержимое карманов людей, которые три дня назад лезли на нас через Гнилой лог, а теперь лежали за логом в мокрой траве и размокшей земле, потому что убирать их было некому. Письма из дома в косом

готическом почерке. Открытки с видом какой-то реки и мостом в три арки. Фотография: женщина с двумя мальчишками у кирпичного дома, на обороте карандашом четыре слова. Расчётные книжки. Бумажный пакетик с иголками. Молитвенник размером с папиросную коробку. Две колоды карт. Записная книжка с адресами, и в ней между страниц — засушенный, ставший коричневым цветок.

Я это всё раскладывал и думал вот о чём.

Я думал: вот это же самое сейчас лежит и у нас в карманах, и в точно таких же пропорциях. Письма, фотографии, иголки, засушенное. И через неделю, если у нас не сложится, это будет так же лежать на чужом столе под лампой, и чужой человек будет двумя пальцами перекладывать мою записку в косую линейку из одной кучи в другую.

От этой мысли надо было немедленно избавиться, потому что она мешает работать, и я избавился привычным способом.

— Товарищ сержант.

— Ну?

— Я вот что заметил. У них у половины в карманах карты.

— Игральные?

— Игральные. И у нас у половины карты. Мы с ними, товарищ сержант, на одном языке-то и говорим, только в одну сторону.

Бортников не поднял головы.

— Ты давай сортируй, — сказал он. — Философ.

Дневник лежал ближе ко дну кучи.

Небольшой, в матерчатом переплёте, когда-то, наверное, зелёном, а теперь неопределённо-бурым, с резинкой, которая давно потеряла упругость и болталась. Углы обтрёпаны. На первой странице — имя, номер полевой почты, и дальше, страница за страницей, тесный почерк карандашом, местами химическим, местами простым.

Я его открыл и стал листать — не читая, конечно, я по-немецки знал два десятка слов из школы этого тела и ещё сколько-то из своей первой жизни, и всё это были слова про «руки вверх» и «где твоё подразделение».

Но там были цифры. И там были схемы.

— Товарищ сержант, — сказал я. — Вот это в отдельную кучу. Тут не письмо.

Бортников взял, полистал, поглядел на схемы, и лицо у него сделалось то самое, служебное.

— Ройтмана сюда, — сказал он в дверь. — Бегом.

Ройтман пришёл через двадцать минут — маленький, в очках с одной дужкой, примотанной проволокой, боец первого взвода, до войны бухгалтер артели в Малаховке. Он сел за стол, взял дневник и сказал:

— Товарищ сержант, я вам сразу говорю: я не переводчик. Я знаю идиш от бабушки и немного немецкий, потому что похоже. Я вам буду говорить, что понял, а где не понял, я скажу «не понял». Врать не буду.

— Правильно, — сказал я. — Три слова: понял, догадался, не понял. Держитесь их и будете ценный человек.

Ройтман поглядел на меня поверх очков, кивнул и стал читать.

Читал он медленно, вслух, спотыкаясь, ведя пальцем. Первые страницы были бытовые: холодно, дороги невозможные, лошади падают, вчера в деревне достали яйца, у Вилли болит зуб, письмо от Марты идёт двадцать дней. Про русскую грязь у него было написано столько, что Ройтман устал переводить и сказал: «Тут опять про грязь, товарищ сержант, я пропущу».

— Не пропускай, — сказал Бортников. — Читай всё.

Мы дошли до середины октября. Там пошло другое: пометки, схемы, стрелки.

И вот на одной из последних страниц Ройтман остановился и стал водить пальцем взад-вперёд.

— Тут я не всё понял, — сказал он. — Тут он пишет не для себя, тут он переписывал откуда-то, у него почерк другой, ровнее. Как из приказа переписывают.

— Читай, что понял.

— Так, — сказал Ройтман. — Число... четырнадцатое. Дальше слово, которое я понял: «санитарный». Точно санитарный, потому что похожее слово. Дальше: «русский», «пункт» или «место», не разберу. Дальше цифры и вот это слово, оно тут два раза, — он показал пальцем, — я думаю, это «перемещение» или «перенос». Потому что корень такой же, как... ну, как «нести».

У меня в этот момент рука лежала на странице.

Я это заметил через полсекунды: пальцы у меня побелели на краю страницы, а голос Ройтмана на миг ушёл мимо. Потом я снова услышал его.

«Раненых не довозят живыми, далеко. Так что мы теперь будем соседями, если это можно так назвать».

— Дальше, — сказал я, и голос у меня вышел нормальный. — Что дальше.

— Дальше названия, — сказал Ройтман. — Названия наши, русские, но написаны немецкими буквами, и я их коверкаю. Вот это, я думаю, «Ватутино». А это... «Хмели»? Или «Хмелево».

Бортников встал.

Он обошёл стол, наклонился над страницей, посмотрел, потом молча снял с полки карту — нашу, батальонную, потрёпанную по сгибам, — расстелил поверх бумаг и стал искать.

— Ватутино, — сказал он. — Есть. Хмели есть. Восемь километров отсюда и одиннадцать. Обе за нашим тылом.

— Товарищ сержант, — сказал я. — А там что?

— Там, — сказал Бортников, глядя на карту, — в Ватутине была школа. Я в ней в октябре ночевал. Кирпичная, двухэтажная, единственное на всю округу здание с печами и с водой.

— То есть под госпиталь.

— То есть под госпиталь, — сказал Бортников.

Я держал страницу.

Я знал, что держу её слишком долго, и я знал, что рядом сидит человек, который всё это время читает меня как барометр, и который несколько дней назад прямо сказал мне, что научился отличать мои голоса. Я всё это знал совершенно ясно, и всё-таки я держал страницу, потому что мне надо было ещё несколько секунд, чтобы уложить у себя внутри то, что уложилось.

Не «медсанбат переносят вперёд». Это я знал из её письма уже несколько дней, и тревожился этому, и тревога была общая, как тревожатся за дальнейшее.

А теперь оказалось, что четырнадцатого октября немецкий унтер-офицер, ныне лежащий за Гнилым логом, аккуратно переписал себе в дневник из чужой бумаги: русские санитарные учреждения, перенос, Ватутино, Хмели.

Они это знали. Раньше меня. Раньше, чем она написала мне свои девять строчек. Они это уже занесли на бумагу, а бумагу вложили в планшет, а планшет положили в карман, а карман принесли к нам через лог, и мы этот карман взяли, и теперь я, боец Гринёв Андрей, восемнадцати лет, сижу в ротной землянке и читаю чужое знание о том месте, куда едет женщина, вышившая мне ёлочку красной ниткой.

Я убрал руку со страницы.

— Ройтман, — сказал я. — Посмотрите ещё раз: там нет даты после этих названий? Не четырнадцатое, а какое-нибудь другое число, впереди?

Ройтман поводил пальцем.

— Не вижу, — сказал он. — Тут цифры есть, но они, по-моему, к другому. Тут «шесть» и потом... километр, наверное. Расстояние.

— Расстояние от чего?

— Не понял, — честно сказал Ройтман.

— Хорошо, — сказал я. — Спасибо, что не догадались.

Бортников свернул карту, сел обратно и сказал:

— Ройтман, свободен. Иди, скажи Хвостову, что я тебя брал. И про то, что читал, — молчи. Не потому, что тайна, а потому, что люди переврут.

Ройтман встал, поправил очки за проволочку и вышел.

Мы остались вдвоём.

Бортников достал кисет — свой, старый, кожаный, вытертый до белизны, — и стал сворачивать, и делал это медленнее обычного.

— Гринёв.

— Я.

— Есть у тебя личный интерес к Ватутину?

Вот так вот. Прямо, в лоб, без подхода, — как он всегда и делает, потому что заходить кругами он считает бабьим делом.

И я сидел напротив и почувствовал странное: я не знал, что ответить.

Я, человек, который за это время заговаривал зубы старшине, командиру взвода, обознику, четверым проверяющим и одному майору из штаба батальона; человек, у которого на любой вопрос про себя лежало наготове три легенды, отработанные до блеска, — я сидел и молчал.

Потому что от вопросов про себя у меня была защита, а от этого вопроса защиты не было. И не потому, что он опасный. Наоборот. Потому что он был единственный за всю мою вторую жизнь вопрос, на который я мог ответить чистую правду, целиком, ничего не пряча.

И оказалось, что это труднее.

— Есть, товарищ сержант, — сказал я.

— Какой?

— Там служит человек, — сказал я. — Реброва Александра. Медсанбат, который стоял под Дёминым, и её вместе с ним переносят вперёд, и она мне сама об этом написала на днях, и я тогда же ей ответил, чтоб выбирали место с лесом за спиной и не у моста. А сегодня я получил от неё вот это.

Я достал кисет и положил на стол, поверх немецких писем.

Бортников посмотрел на него. Потом на меня.

— Она сама шила?

— Сама. Вон, видите, шов дважды подрублен. Первый раз криво пошло.

— Вижу, — сказал Бортников.

И замолчал, и молчал долго, и я сидел и не мешал, потому что понимал: он сейчас не решает служебное. Он сейчас что-то своё вспоминает.

— У меня жена в Калинин, — сказал он наконец. — С дочкой. Я про них с четырнадцатого октября ничего не знаю. Я знаю только, что четырнадцатого он туда вошёл.

Я ничего не сказал.

Я мог бы сказать. У меня в голове лежало общее знание, вынесенное из первой жизни, без чисел и без подробностей, но лежало: Калинин отобьют. Отобьют этой же зимой, и там ещё будет наступление, и город будет наш. И я знал это так же твёрдо, как знал, что мы устоим под Москвой.

И я не сказал ни одного слова, потому что откуда бы бойцу Гринёву это знать. И потому что не дай бог сказать человеку про его семью то, за что нельзя отвечать.

— Так что я тебя, Гринёв, понимаю, — сказал Бортников, и на этом тема его жены закрылась и больше в тот вечер не открывалась. — Теперь слушай, как будет.

— Слушаю.

— Дневник и всё, что Ройтман прочёл, уходит по команде. Завтра с человеком из батальона, а если не придёт — я сам понесу. Это не обсуждается, и ты понимаешь почему.

— Понимаю, — сказал я. — Потому что если оно уйдёт, штаб хотя бы будет знать, что противник знает. А если не уйдёт, то не будет знать никто, и хуже этого нет ничего.

— Верно.

— И потому что медсанбат — не моё хозяйство и не ваше, — сказал я. — Его прикрывать — не нам, у нас двести сорок метров и семь человек. Его беречь тем, кому это положено, а положено это тем, кто сидит с картой всего участка. Наше дело — вовремя отдать бумагу и не потерять её по дороге.

Бортников кивнул.

— Умный ты всё-таки, — сказал он. — Иногда даже противно.

— Товарищ сержант.

— Ну?

— Разрешите вопрос. Не по службе.

— Валяй.

Я собрался. Мне это было по-настоящему неловко, и я вдруг понял, что впервые за эти недели испытываю неловкость по-настоящему детскую — не взрослую, не тактическую, а ту самую, восемнадцатилетнюю, от которой краснеют уши.

— Я хочу ей написать сам, — сказал я. — Отдельно. Что не бумагу пересказать, а по-человечески: место у вас нехорошее, будьте осторожны, знайте, что оно у них записано. Это будет нарушением?

Бортников затаился и посмотрел на меня с некоторым, я бы сказал, недоумением.

— С чего это нарушением?

— С того, что сведение служебное.

— Сведение уйдёт по команде, — сказал Бортников. — Ты его не прячешь и не в обход несёшь. А что ты своему человеку скажешь «поберегись» — так это, Гринёв, все делают. У меня в первую финскую половина роты писала домой: не езжайте туда, не ходите сюда. Ты только вот чего не пиши.

— Чего?

— Не пиши, откуда взял, — сказал он. — Не пиши «нашли у убитого немца дневник, а в нём». Потому что письмо идёт через людей, и его читают, и не только те, кому положено. Пиши так, чтоб человек испугался в нужную сторону, а бумага при этом была пустая. Понял?

— Понял, — сказал я. — Написать страх без причины.

— Написать заботу без адреса, — поправил Бортников. — Разница есть.

Я встал.

— Сядь, — сказал он. — Не всё.

Я сел.

— Второе. — Он загасил окурок о край стола. — В деле, если оно будет, ты про своё Ватутино забудешь. Совсем. У тебя тут двести сорок метров, и если ты мне на них будешь думать про медсанбат — я тебя сниму и поставлю к Хвостову вторым номером, и там ты будешь думать только про ленту. Это не угроза, это порядок. Ты понял, почему?

— Понял, — сказал я. — Потому что человек, который держит в голове двоих, теряет обоих.

— Вот, — сказал Бортников. — Иди пиши. И... Гринёв.

— Я.

— Кисет со стола заberi. Он у меня тут между покойниками лежит, нехорошо.

Я забрал.

Дальше был вечер, и вечер был длинный.

Сначала я сидел с донесением. Донесение — дело простое: «Доношу, что при разборе трофейных документов, собранных на скате за Гнилым логом 14 октября с. г., обнаружен полевой дневник, в котором имеется запись от 14 октября, содержащая, по устному переводу бойца Ройтмана, сведения о переносе советских санитарных учреждений с указанием пунктов Ватутино и Хмели. Дневник прилагается. Считаю необходимым сообщить: перевод неполный, переводчик подготовки не имеет, точность отдельных слов нуждается в проверке». Три раза переписал, потому что первый вышел с кляксой, второй — слишком складный, я его сам испугался, а третий получился ровно такой, какой нужен: сухой, без единого лишнего слова и с честной оговоркой про Ройтмана.

Потом я взял второй лист.

И вот тут началось.

В первой своей жизни я писал документы, от которых зависели люди. Я писал их под обстрелом, на колене, в темноте, и они выходили точные. А тут я сидел при коптилке в тепле, никто в меня не стрелял, и я испортил четыре обрывка бумаги.

Потому что задача была вот такая: сказать женщине «уезжайте оттуда» так, чтобы в письме не было ни слова о том, откуда я знаю, и чтобы она при этом поверила и испугалась ровно настолько, чтобы действовать, но не настолько, чтобы сломаться.

«Здравствуйте, Александра...»

Тут я остановился в первый раз, потому что до этой минуты я писал «Реброва А.», и переход был серьёзнее, чем кажется. Но кисет лежал у меня на колене, и я решил, что человек, который распарывает кривой шов и шьёт заново, имеет право на имя.

«Здравствуйте, Александра.

Кисет ваш получил третьего дня, и я его получил в бане, стоя на сыром ветру с мокрой головой, и не ушёл, пока не рассмотрел весь. Спасибо. Табаку у меня, правда, мало, и я держу в нём не табак, а кремень и карандаш, потому что табак кончается, а карандаш — вещь основательная.

Шов вы подрубали дважды, я разглядел. Не надо было распарывать. Мне бы и кривой был хорош, а вам лишняя ночь.

У нас за две недели построили баню, и это, я вам доложу, событие покрупнее иных. Ещё у нас Хвостов Аким командует теперь на опушке и хромает, но хромает гордо. И ещё у меня к вам просьба и разговор.

Теперь главное, и я напишу прямо, потому что влиять не умею, вы это уже знаете.

Не считайте новое место безопасным оттого, что оно в тылу. Тыла в том смысле, в каком его понимают, теперь нет. Есть ближе и дальше, и всё.

Прошу вас, если у вас есть хоть какое-то влияние на то, где встанут, — влияйте. Не в кирпичной школе. Кирпичная школа в деревне — самое видное строение на десять километров, её видно с воздуха, её знают все местные и все, кто здесь был раньше. Пусть лучше три избы врозь, чем одно хорошее здание. Если школы не миновать — просите, чтоб тяжёлых клали в первом этаже, а лучше в подвале, если он сухой, и чтобы у вас было два выхода, а не один. И выкопайте щели во дворе, не ленитесь, хоть по два метра, хоть кривые. Щель во дворе — это не трусость, это вежливость к раненым, которые сами не побегут.

И ещё: узнайте заранее, где ближайший лес и какая до него дорога, и сколько идти пешком с носилками. Не поленитесь пройти это ногами один раз в светлое время. Один раз пройденное ногами стоит десяти рассказанного.

Отчего я это пишу — не спрашивайте. Я не пугаю вас зря, я вообще не любитель пугать, я скорее рассмешу. Просто у меня есть основания думать, что ваш переезд для вас не такая простая перемена, как переезд из одной квартиры в другую, и что о нём известно не только вам.

А теперь, чтобы вы не думали, будто я умею только страшное.

Я взялся сделать вам вещь. Не бумагу, а вещь, руками. Какую — не скажу, потому что я её ещё не сделал, а хвалиться недоделанным дурно. Скажу только, что мне на неё дали кусок сухой берёзы, который человек берёт двадцать лет на топорище, и человек этот отдал его без единого слова, и это, Александра, если вы понимаете в мужиках, дороже самой вещи.

И скажу ещё одно, а вы смейтесь сколько хотите. Про наш с вами разговор теперь знает всё моё отделение, и полроты, и повар Ситников, и обозник Селиванов, который делает вид, что ему всё равно. Они узнали не потому, что я проболтался, а потому, что кисет ваш нельзя спрятать в кулаке, как записку. Я сперва хотел отшутиться и увести, а потом посмотрел на них и не стал.

Пусть знают.

Гринёв Андрей.

Р. С. Скажите, что означает „А“. Я тут две недели гадал и дошёл до Аграфены, а это уже неприлично».

Я его перечитал.

И понял, что в нём есть одна дыра, которую я не заделаю никак: если она умная — а она умная, я это понял ещё по первым девяти строчкам, — она обязательно спросит себя, откуда парень с передовой знает про кирпичную школу в Ватутине, которую он никогда не видел.

Я сидел над этим минут десять. Взял пятый обрывок, начал переписывать без школы — и остановился.

Потому что убрать школу означало убрать единственное, ради чего письмо пишется. А оставить школу означало оставить вопрос без ответа.

И я оставил школу.

Пусть спрашивает. Не ответить на вопрос я умею, а не спасти человека — не умею.

Опарин с Хвостовым притащились в мою нишу в десятом часу, и притащились не с пустыми руками: Хвостов принёс кусок притолоки — тёмный, тяжёлый, звенящий, когда по нему щёлкнешь, — а Опарин принёс маленький, зверски отточенный нож с наборной рукоятью и наждачный брусок, выпрошенный у Хвостова.

— Ну, — сказал Хвостов, садясь. — Показывай, чего ты умеешь.

— Ничего я не умею.

— Так и знал, — сказал Хвостов с удовлетворением. — Гляди сюда. Берёшь, откалываешь по слою. Не поперёк, дурень, по слою! Вот так. Тебе нужна пластина в палец, а лучше тоньше, но тоньше ты сейчас не выйдешь, ты запорешь.

Я взял нож.

И первые полчаса запорол всё, что можно было запороть: раскрыл заготовку не по волокну, чуть не отхватил себе подушечку большого пальца, сломал первый же намеченный зуб, потому что резал зуб полностью, вместо того чтоб сначала пропилить пазы. Хвостов сидел и комментировал каждое движение с наслаждением человека, который наконец-то нашёл область, где Кузьмич — полный ноль.

— Ты слышишь, как оно идёт? — говорил он. — Ты слушай нож. Он тебе сам скажет, куда ему.

— Он мне ничего не говорит.

— Значит, ты глухой.

— Аким.

— Ну?

— Ты когда меня в первый раз учил лозу вязать, ты через полчаса сказал: «Кузьмич, ты не мужик, ты барышня».

— И сейчас скажу, — сказал Хвостов. — Кузьмич, ты барышня.

Опарин у стенки смеялся в бороду и точил свой нож о брусок — просто так, для порядка.

К одиннадцати у меня в руках была пластина: восемь сантиметров на четыре, толщиной с ноготь, гладкая с одной стороны и шершавая с другой, тёмно-медовая на просвет коптилки. Ни одного зуба ещё не было. Была только пластина и тонко процарапанная риска, отмечающая, куда пойдут пазы.

Хвостов посмотрел на неё, повертел и сказал:

— Ну вот. Это уже не полено.

— Это ещё не гребень.

— Это будет гребень, — сказал Хвостов. — Через неделю. Если каждый вечер по часу и если ты не будешь спешить. А ты будешь спешить, я тебя знаю. Ты уже сейчас на неё смотришь, как на дело, которое надо сдать к сроку.

Он был прав, конечно. Прав абсолютно.

Они ушли в двенадцатом часу, оба, — Хвостову было полтора километра до опушки, и он пошёл верхом, по кустам, как я его учил.

Я остался один.

На ящике передо мной лежали три вещи.

Слева — донесение, переписанное набело, сложенное вчетверо, готовое уйти завтра утром: сухое, точное, с оговоркой про Ройтмана, — оно поедет по команде, и его прочтёт человек в батальоне, а потом, может быть, человек в полку, и когда-нибудь кто-то с картой всего участка посмотрит на два слова, «Ватутино» и «Хмели», и решит, что с этим делать. Или не решит. Или решит через десять дней.

Справа — письмо, законченное и не запечатанное, потому что запечатывать было нечем, и его я отдам Селиванову, который уходит послезавтра утром, если будет дорога, а если он опять провалится у Хмелей — то через трое суток. И оно пойдёт со скоростью телеги по размокшему полю.

А посередине — пластина берёзы, тёмная, гладкая, тёплая от рук, с одной-единственной рисккой на боку.

И я сидел, и в первый раз за всё это время у меня в голове ясно стояли рядом две вещи, которые прежде жили порознь: то, что я знаю о войне вообще, и то, что я не знаю про конкретное завтра.

Я знал, что зима переломит. Я знал это твёрдо, как знают о смене времён года.

Я не знал, что раньше дойдёт до Ватутина: моя бумага, донесение сержанта Бортника или чужой снаряд.

Коптилка коптила. Я взял пластину и провёл по риске ногтем, примеряясь, — и понял, что пазов надо не двадцать, а двадцать три, потому что зубья у гребня для длинных волос должны быть чаще, а какие у неё волосы, я не знал, потому что видел её один раз при свете, и то в платке.

Я сидел и думал, какие у неё волосы.

На западе гудело.

Глава 4. Пометка на обороте



Коптилка чадила уже одним язычком, синим по низу, и было это где-то около двух, потому что смена караула у Хвостова только что прошла мимо ниши, шаркнув по мокрым доскам — двое туда, двое обратно, — и я по этому шарканью время знал точнее, чем по любым часам, каких у меня всё равно не было.

Пластина берёзы лежала у меня на ладони, тёплая. Двадцать три паза — я их пересчитал ещё раз, ногтем, и остался при своём: двадцать три. Донесение слева, письмо справа, между ними — начатый гребень, и всё вроде бы сделано, и надо тушить и спать, потому что в шесть подъём, а в семь я обещал Бортникову добить последние четыре метра на левом крыле, там, где грунт пошёл с камнем и Гнутов вчера согнул кирку.

И вот тут я почему-то не потушил.

Я потом много раз возвращался к этой минуте. Никакого предчувствия у меня не было. Предчувствия — это для книжек. Была у меня привычка из первой жизни, дурацкая, занудная, из-за которой меня в своё время терпеть не могли на выходе: перед тем как отдать бумагу дальше, прочитать её ещё один раз. Не потому что не доверяешь тому, кто читал до тебя, а потому что человек читает то, что ищет, а не то, что написано. Первый раз мы с Ройтманом и Бортниковым читали дневник, ища сведения. И мы их нашли. И на этом наши глаза остановились, как останавливается собака, взявшая след, — дальше по кустам она уже не смотрит.

Дневник лежал у меня. Бортников оставил его мне на ночь под расписку в тетрадке — сам написал строчку, сам расписался, сам заставил меня расписаться, — потому что утром я должен был передать его Селиванову вместе с донесением, а ротная землянка стоит на триста метров дальше от обозного разъезда, чем моя ниша.

Я его открыл.

Немецкого я не знаю. Двадцать слов из школы этого тела и десятка три из своей первой профессии, все про руки вверх, оружие на землю и где твоё подразделение. Я листал не текст. Я листал бумагу — так, как учили смотреть на документ, когда языка нет: где почерк меняется,

где нажим другой, где строка стоит отдельно от абзаца, где карандаш другой, где страница залоснилась от того, что её открывали чаще прочих.

И вот я дошёл до той страницы. До нашей. Четырнадцатое октября, «санитарный», «русский», Ватутино, Хмели.

Перевернул.

Оборот был почти пустой. Три четверти чистого поля, и вверху, у самого корешка, — четыре строчки, отчёркнутые сбоку чертой. Другим карандашом. Не химическим, которым он писал про грязь и про Марту, а простым, твёрдым, — и почерк там был не тот, каким человек пишет себе на память, а тот, каким переписывают с чужого листа: острые готические буквы стояли ровнее, ниже, с одинаковым наклоном, как в ведомости.

Я на эти четыре строчки утром смотрел. Мы все на них смотрели. И Ройтман, я помню, повёл по ним пальцем и сказал: «Тут дальше про дороги, товарищ сержант, тут не про санитарное», — и Бортников сказал: «Читай главное», и Ройтман вернулся на лицевую сторону.

Про дороги.

Я сел ровнее.

Первое слово в третьей строке я знал. Короткое, в три косые готические буквы, — «дорога», «путь»; его знает всякий, кто хоть раз видел на фотографии их указатель со стрелкой. Дальше шло что-то длинное, составное, из тех немецких слов, которые собираются, как поезд, и в этом поезде я разобрал вагон — тот самый кусок, которым у них зовётся повозка. И ещё, чуть ниже, дважды — цифры. Не расстояния. Время. Два числа с двоеточием посередине, как пишут часы, и рядом маленькое, в скобках.

И между ними — русское название, написанное чужими буквами.

Я его читал вслух, шёпотом, по слогам, подставляя наши звуки, и получалось у меня «Дубцы», а потом «Дубицы», а потом я понял, что это Дубец. Дубец — это не деревня. Это урочище с бродом по нашу сторону, между третьей ротой и хоззводом, там, где просёлок от Мосалёва спускается к ручью и переходит его по старой гати, и по этой гати Селиванов ходит в тыл каждый раз, потому что другой дороги для гружёной подводы на этом участке просто нет.

Я держал страницу.

И вот тут — и это я тоже помню отчётливо — я упёрся ладонью в стол и несколько раз перевёл взгляд со строчек на карту. Утром я понял, что они знают, куда едет она. А сейчас — что они знают, как к нам ходят.

Потому что утром я узнал, что они знают, куда едет она.

А сейчас я узнал, что они знают, как к нам ходят.

Не «где-то там ходят обозы, война же». Отчёркнуто. Переписано с чужого листа ровным почерком. Место, повозки, два времени. Кто-то сидел на скате с биноклем несколько суток подряд и записывал, когда мимо Дубца идут наши подводы туда и когда обратно, а потом это ушло наверх, а сверху вернулось в виде строчки в приказе, а строчку из приказа унтер аккуратно переписал себе, потому что унтеру эту дорогу, наверное, обещали.

И по этой дороге послезавтра — нет, уже завтра, уже через четыре часа — уйдёт Селиванов. Один, на подводе, с сивой кобылой в торбе, с мукой в обратный конец, с моим донесением, с моим письмом и с сорока восемью годами прожжённого полушубка.

Я закрыл дневник.

Первым моим движением было — вскочить. Тело у меня восемнадцатилетнее, и оно эту команду выполнило с восторгом: я уже стоял, уже нашарил шапку. А голова, старая, тяжёлая, из той жизни, сказала мне сверху: сядь, дурак. Сядь и подумай ровно две минуты, потому что через две минуты ты разбудишь человека, который не спал вчера до часу, и у тебя будет один заход. Один. Ты придёшь к нему ночью, вздёргнутый, и если ты начнёшь с «товарищ сержант, там в дневнике», а потом собьёшься, он тебе скажет: утром разберём. И будет прав, кстати. И ты пойдёшь обратно и будешь до шести лежать на нарах и слушать, как у тебя стучит.

Я сел.

Две минуты — это очень много, если их считать честно. Я за эти две минуты успел разложить себе всё по трём кучкам, как раскладывал утром чужие карманы.

Что я знаю точно: в дневнике на обороте страницы стоит отчёркнутая запись, где есть слово «дорога», слово «повозка», два времени и наше название Дубец.

Что я предполагаю: они наблюдают за просёлком и знают распорядок нашего обоза.

Чего я не знаю: зачем им это. Может, для артиллерии. Может, для разведпоиска. Может, просто в общую картину, и лежит эта строчка у них мёртвым грузом с четырнадцатого октября.

И ещё я знал одну вещь, которую Бортникову говорить было нельзя ни при каких обстоятельствах: что я в эту минуту думаю не только про Селиванова и не только про донесение, а ещё и про восемь строчек своим почерком, в которых сказано «не в кирпичной школе» и «два выхода, а не один», и про то, что эти восемь строчек лежат сейчас в одной сумке с донесением и поедут по дороге, отмеченной у противника отчёркнутой чертой.

Вот с этим я и пошёл.

Ротную землянку я нашёл по искре из трубы. Часовой у входа — Мазуров, семнадцать лет ему было в паспорте и пятнадцать на лице, — вскинулся:

— Стой! Кто?

— Свои, Петь. Гринёв.

— Пароль.

— Правильно, — сказал я. — Молодец. «Ольха».

— Проходи... А чего ты ночью?

— Оттого что днём мне некогда быть умным, — сказал я. — Сержант спит?

— Час назад лёг.

— Значит, разбужу.

— Он ругаться будет.

— Он будет, — согласился я. — Ты стой, не отвлекайся. И, Петь, не топчись ты на одном месте, тебя за версту слышно. Переступай на три шага в сторону и обратно: под ногой то глина, то камень, звук разный.

Бортников не спал. Я это понял с порога: он лежал на нарах в шинели, лицом к стене, и, когда я вошёл, не вздрогнул, а сразу сел, как садится человек, который последний час лежит с открытыми глазами и ждёт, когда ему уже дадут повод встать.

— Гринёв.

— Я, товарищ сержант.

— На тебе лица нет.

— Оно есть, просто оно у меня всегда такое в два часа ночи.

Он потянулся к лампе, покрутил фитиль. Свет поднялся. Я положил дневник на стол, открыл на закладке — я заложил спичкой — и развернул к нему.

И вот тут я сказал ту фразу, которую готовил в ходе сообщения все триста метров, и которую переделывал четыре раза, потому что первые три варианта начинались с «мне кажется».

— Товарищ сержант. Мы утром прочли одну сторону листа. Вот вторая. Тут отчёркнуто, тут другим карандашом и переписано с приказа, тут слово «дорога», тут слово «повозка», тут два времени с двоеточием и тут Дубец русскими словами чужими буквами. Дубец — это гать, по которой в шесть утра уходит Селиванов.

Бортников взял дневник обеими руками и поднёс к лампе.

Он смотрел на четыре строчки, наверное, с полминуты. Ни одного слова там понять он не мог — немецкого он знал ещё меньше моего, — но он смотрел не на слова. Он тоже смотрел на бумагу.

— Черта сбоку, — сказал он.

— Черта сбоку.

— И карандаш другой.

— Другой. И почерк. Он себе про грязь писал вольно, крупно. А тут строчки ровные, буквы одного роста. Так пишут, когда сдувают с чужого листа и боятся ошибиться.

Бортников положил дневник и посмотрел на меня. Не сердито. Хуже — устало и внимательно.

— Ты по-немецки читать умеешь?

— Не умею.

— А говоришь так, будто прочёл.

— Я не прочёл, товарищ сержант. Я и не берусь. Я вам говорю не про смысл, а про вид. — Я ткнул пальцем. — Вот наше слово. Вот часы. Больше я ничего не утверждаю. За смыслом — Ройтман, и я готов ждать до утра, если у нас есть утро. Но у нас его нет. У нас есть Селиванов, который запрягает в половине шестого.

— Ройтман в первом взводе. Это километр.

— Я схожу.

— Ты сегодня спал?

— Часа полтора.

— Гринёв, — сказал Бортников, и в голосе у него появилось то, чего я боялся, — та самая ровность, которой командиры гасят ночную панику молодых. — Сядь. Сядь и послушай меня, а потом будешь говорить.

Я сел.

— Дорога на Дубец, — сказал он, — единственная в этом углу. По ней ходят все: мы, хозвзвод, третья рота, санитарная летучка, ходили в октябре артиллеристы, когда стояли за Мосалёвом. Немец про неё знает не потому, что он гениальный, а потому что у него глаза есть. Он с высоты двести один в бинокль полдня видит наш скат. Он и без дневника знает, что мы туда ездим. Ты мне сейчас принёс новость, что вода мокрая.

Вот это было больно. Причём больно правильно, что самое обидное, — потому что он говорил дело.

— Что немец видит дорогу — не новость, — сказал я. — Новость в том, что он записал два времени: туда и обратно. Значит, несколько суток следил и выжидал, когда повторится один и тот же порядок.

— Чем встретить?

— Не знаю, — сказал я честно. — Не знаю и врать не буду. Может, миномётом по площади, у них там за высотой батарея, вы сами говорили. Может, группой. Может, ничем — лежит и лежит. Но я в жизни не видел, чтоб человек трое суток считал чужие часы просто из любопытства.

— Товарищ сержант, если мы зря побеспокоимся, над нами посмеются. Если прождём утро и он уйдёт, потеряем Селиванова. Смех стоит нам меньше.

Он потянулся за кисетом.

Я эту его манеру уже выучил: когда Бортников тянется за кисетом, он занимает руки, пока думает. Я замолчал, хотя на языке лежало ещё четыре довода.

Он свернул. Прикурил от лампы. Дым пошёл вверх, к накату.

— В октябре, — сказал он, — когда мы отходили от Спас-Дёмина, я вёл роту не по большаку, а низом, через Волчьи Ямы. Там дорога хуже втрое и брод по грудь. Меня комроты за это чуть под трибунал не подвёл, потому что я вышел на восемь часов позже срока. А по большаку в те часы прошёл сорок девятый отдельный. От него дошло сорок человек.

— Товарищ сержант...

— Молчи. — Он посмотрел на дневник. — Гринёв, скажи мне одну вещь и скажи прямо. Ты сейчас про Селиванова думаешь или про свою бумагу к Ватутину?

Вот.

Он это спросил ровно, безо всякого ехидства, глядя мне в лицо, и в землянке было слышно, как в лампе потрескивает фитиль.

И в эту секунду я очень ясно понял: соврать нельзя. Не потому что он поймает, — он, может, и не поймал бы. А потому что если я сейчас совру человеку, который держит в руках жизнь обозника, то дальше мне с этим человеком работать нечем.

— Про обоих, — сказал я.

— Честно.

— Товарищ сержант, я вам могу дать полный расклад, если хотите. Я его сам себе давал час назад и не постеснялся. Если б в той подводе ехали только мука и мой доклад — я бы к вам всё равно пришёл, вот сейчас, ночью, и говорил бы то же самое, потому что запись есть запись. Но я бы шёл сюда спокойнее. А иду я быстрее, чем надо, оттого что в сумке лежит ещё и мой личный лист. Это правда. Вы её знаете со вчерашнего дня, и я вам её не подсовываю как довод.

— А что подсовываешь как довод?

— Черту сбоку и два времени, — сказал я. — Больше у меня ничего нет. Остальное — мои нервы, и я их к делу не пришиваю.

Бортников усмехнулся — коротко, в усы, впервые за этот разговор.

— Ты хоть понимаешь, — сказал он, — что если б ты мне сейчас начал божиться, что личное тут ни при чём, я б тебя выгнал?

— Понимаю. Потому и не начал.

— Ладно. — Он положил самокрутку на край стола. — Ройтман.

— Иду.

— Стой. Не бегом. Ты добежишь и разбудишь его так, что он с испугу тебе прочтёт то, что ты хочешь. — Он поднял палец. — Слушай сюда, Гринёв, это важнее всего, что ты мне тут наговорил. Ты человека приведёшь и не скажешь ему, чего ждёшь. Ни слова про Селиванова, ни слова про шесть утра. Дашь страницу и скажешь: читай, что видишь. Понял?

Я сидел и, честное слово, любовался.

Потому что вот эту вещь — не подсказывать свидетелю ответ — я в первой жизни втолковывал молодым офицерам месяцами, и половина всё равно не понимала, зачем, если и так всё ясно. А сержант Бортников, четыре класса и финская, выдал её мне ночью в погребке как само собой разумеющееся.

— Понял, — сказал я. — Товарищ сержант, а можно я вас за это подначу?

— Нельзя.

— Ну хоть чуть-чуть.

— Иди за Ройтманом, — сказал Бортников. — Философ.

Ройтмана я поднял в двадцать минут третьего.

Он спал в первом взводе, в общей землянке, между печкой и стеной, и очки его лежали на приступке, аккуратно сложенные, дужкой с проволочкой кверху. Я тронул его за плечо, и он сел мгновенно, как садятся бухгалтеры и часовые, — то есть люди, которых всю жизнь будили внезапно.

— Что?

— Ройтман, вы мне нужны. По документу. Час, не больше.

— Товарищ сержант велел?

— Велел. Очки берите, они у вас справа. И шинель, там холодно и километр.

Он одевался и на ходу спрашивал:

— А что случилось-то?

— Ничего не случилось. Читать будем.

— Гринёв, — сказал он, наматывая портянку, — я вас недолго знаю, но вы за час до подъёма из-за «ничего» человека не поднимаете.

— Поднимаю, — сказал я. — Я вообще, Ройтман, человек беспокойный. Меня в детстве бабка называла «шило в мешке» и говорила, что я плохо кончу.

— И как?

— Пока не кончил.

Мы шли по ходу сообщения, под сапогами чавкала глина, где-то на западе гудело — не сплошным, а с провалами, как накануне. Ройтман шёл и молчал, а потом сказал:

— Вы про меня утром сказали хорошую вещь. Про три слова.

— Понял, догадался, не понял?

— Да. Я весь день ходил и думал, что за двадцать лет в артели я такого от начальства ни разу не слышал. У нас если ты скажешь «не понял», это значит, ты плохой работник.

— Это значит, вы хороший работник, — сказал я. — Плохой работник тот, кто «догадался» выдаёт за «понял». От такого людей больше гибнет, чем от прямого вранья, потому что вранью не верят, а догадке верят.

Он поглядел на меня сбоку. Ничего не сказал.

В землянке Бортников усадил его к лампе и подвинул дневник — уже перевёрнутый на нужную страницу, оборотом вверх, и, я заметил, спичку-закладку он вынул. Молодец какой.

— Ройтман, — сказал Бортников. — Читай, что видишь. Не спеши. Что не понял — говори «не понял».

Ройтман поправил очки за проволочку, наклонился и повёл пальцем по косым, острым строчкам.

Я стоял у стены и держал руки за спиной, чтоб они у меня не жили отдельной жизнью.

— Так, — сказал Ройтман. — Тут отдельно от того. Тут переписано, я и утром говорил, почерк другой, буквы мельче и все на один рост... Первое слово... это про наблюдение, я думаю. У них корень такой же, как «смотреть», а всё слово выходит вроде нашего «обозрение», «наблюдение». Дальше не понял, дальше сокращение, две буквы с точкой.

— Дальше.

— Дальше короткое слово, в три буквы, — это «путь», «дорога», это точно, это все знают. И большое слово, склеенное из двух... — Он придвинул лампу ближе, и стекло тихонько звякнуло. — Вот тут первая половина мне сперва показалась про езду вообще, а потом я увидел вторую половину и понял. Это «повозка». Конный ход, подвода. У нас в артели немецкий каталог был на конные ходы, там ровно это слово и стояло над картинками.

Я стоял у стены и не дышал.

— И вместе это, товарищ сержант, читается так, — сказал Ройтман, — «дорога, пригодная для повозок». Или «путь для гужевого хода». Смысл один.

— Дальше.

— Дальше цифра, — сказал Ройтман. — «Пять — восемь». Через чёрточку. Не понял, к чему. Может, штук. Дальше вот это ваше... — он посмотрел на слово с сомнением, — это уже не ихнее слово. Это они наше писали своими буквами, и от этого оно кривое. Дуб... Дубец?

— Дубец, — сказал Бортников ровно.

— Дальше время. Шесть ноль-ноль до семь тридцать, а в скобках — семнадцать ноль-ноль. И вот последнее слово в скобках я, товарищ сержант, не понял точно, но оно мне не нравится.

— Почему?

Ройтман снял очки и потёр переносицу, и это был жест человека, который сейчас скажет то, чего говорить не хочет.

— Потому что оно, если я верно разобрал, значит «стоящее», «выгодное», — сказал он. — По-нашему я бы написал: «заслуживает внимания». Так в артели говорили про заказ, который окупается. Но я не уверен, товарищ сержант. Тут почерк мелкий, буквы с завитком, и может быть другое слово, похожее.

— Скажите как есть, — сказал я. — Понял, догадался или не понял?

Ройтман подумал.

— Догадался, — сказал он. — На «догадался».

В землянке стало тихо.

Бортников встал, обошёл стол и постоял над лампой, глядя вниз, на четыре строчки, которых он не мог прочесть.

— Ройтман, — сказал он. — Спасибо. Иди спи. И то же самое: молчи. Не потому, что тайна.

— А потому, что переврут, — сказал Ройтман. — Я помню, товарищ сержант.

Он поправил очки и вышел, и уже из-за двери, не оборачиваясь, сказал:

— Гринёв. Вы меня в другой раз поднимайте сразу и говорите зачем. Я не барышня.

Дверь стукнула.

Бортников сел. Взял свою потухшую самокрутку, посмотрел на неё и бросил в печку.

— Пять — восемь, — сказал он. — Это не штурк. Это километров или это сколько повозок за раз. У нас за раз бывает две-три.

— Или это номер, — сказал я. — Не гадаем. У нас есть четыре твёрдых слова: наблюдение, дорога, повозка, Дубец. И два времени. Утром с полшестого до полвосьмого — это ровно наш обоз, товарищ сержант. Селиванов всегда проходит гать в шесть с четвертью, потому что раньше темно, а позже он не успевает к раздаче в хоззведе.

— И семнадцать — это он обратно.

— Это он обратно.

Бортников молчал долго. Я стоял и ждал, и у меня, я чувствовал, начало дёргаться веко — верный признак второй бессонной ночи в этом молодом теле, которому положено дрыхнуть по девять часов и жрать за троих.

— Кобыла, — сказал вдруг Бортников.

— Что кобыла?

— Кобыла у него сивая. Белая почти. — Он поднял глаза. — Гринёв, ты соображаешь, что такое светлая кобыла на тёмной дороге с двух километров в бинокль?

— Соображаю, — сказал я. — Единственное чёрное пятно на белом — это человек. А единственное белое пятно на сером — это его лошадь. Он их обоих видит одинаково хорошо и по обоим отличает наш обоз от любого другого.

— Он их не поэтому три дня считал.

— Всё равно надо перекрасить, — сказал я. — Не сегодня. Вообще. Сажай с дёгтем, полосами, не сплошь: ровное пятно на пёстрой земле видно лучше, чем ломаное.

Бортников посмотрел на меня тем самым косым взглядом, который я знал уже наизусть и от которого мне каждый раз хотелось прикусить язык на полслове.

— Ты откуда это берёшь?

И вот тут — как всегда, как в который уже раз за это время — я взял с полки нужную коробочку и открыл её, не задумываясь.

— Из леса, товарищ сержант. У нас в Кузнецове мужики зайцев били. На пожухлой траве заяц серый — и всё равно его видно. А знаете почему? Потому что он ровный. В лесу ничего ровного нет, всё пятнами: тут грязь, тут листва, тут тень от ёлки. Глаз ищет ровное. Кто ровный — тот покойник.

— Тебе бы, Гринёв, в лесники.

— Возьмите после войны сторожем, товарищ сержант. Я буду ходить в тулупе и всех пугать.

— Ты и так всех пугаешь. — Он хлопнул ладонью по столу и встал. — Так. Слушай приказ, и повтори потом.

Я подобрался.

— Обоз на Дубец сегодня не пойдёт, — сказал Бортников. — Пойдёт низом, через Волчи Ямы, тем путём, каким я раньше роту водил. Это на семь километров длиннее, и на ручье надо будет разгружать подводу и переносить на руках, потому что гати там нет, там жерди, и пустую телегу они держат, а гружёную нет. Селиванову объяснишь ты, потому что ты умеешь объяснять так, что человек не спорит. Пойдёт он не в шесть, а в четыре тридцать, чтоб гребень у Мосалёва пройти в темноте.

— Есть.

— Дальше. — Он поднял палец. — Я утром иду к Пантелееву и докладываю за смену маршрута. Не спрашиваю — докладываю, потому что дорогу обозу в роте назначаю я, и это моё право. Но Пантелеев доложит выше, и если наверху решат, что мы дураки, дураками будем оба. Тебя это устраивает?

— Меня это устраивает, товарищ сержант.

— Дальше. Дневник и твоё донесение уходят по команде, но не с Селивановым.

Я открыл рот.

— Помолчи, — сказал Бортников. — Ты сам мне сейчас доказывал, что дорога под наблюдением. Значит, я не кладу единственный экземпляр документа на единственную повозку на единственной дороге. Дневник понесёт человек, ногами, лесом, и понесёт его Гнутов, потому что Гнутов бежит лучше всех и голова у него пустая ровно настолько, чтоб не мудрить. Он выйдет в семь, когда рассветёт, и пойдёт не по просёлку.

Глава 5. Госпиталь

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.